



ЕВГЕНИЙ ДЬЯКОВ

*Ноктюрн
в подъезде*

РАССКАЗЫ

ЕВГЕНИЙ ДЬЯКОВ

Ноктюрн в подъезде

«Автор»

2026

Дьяков Е.

Ноктюрн в подъезде / Е. Дьяков — «Автор», 2026

Герои этого сборника живут рядом с нами – за стеной, в соседней квартире, в старом подъезде. Мы не замечаем их, пока однажды не услышим шаги, или скрипку, или тихий плач за дверью. «Ноктюрн в подъезде» — рассказы о том, как мы теряем друг друга и находим заново. О времени, в которое нельзя войти дважды. О запахе яичницы, которая становится последним «прости». И о том, что даже в самой глухой тишине кто-то продолжает дышать и ждать, когда его услышат.

© Дьяков Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	5
Ноктюрн в подъезде	6
Яичница	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Ноктюрн в подъезде

От автора

Когда я начал писать эти рассказы, я думал, что пишу о других. О соседях, которых встречал на лестнице. О старике, который сидел на лавочке со скрипкой, но никогда не играл. О женщине, что каждое утро в семь часов ставила чайник, хотя никто не приходил к ней в гости. О программисте из квартиры снизу, забывшем телефон собственной матери. Мне казалось, что я просто записываю чужие жизни.

Но чем больше я писал, тем яснее понимал: я пишу о себе. О том, как мы умеем не замечать друг друга. Как привыкаем к тишине за стеной и перестаём слышать: она не пустота, это жизнь. И о том, как важно иногда выключить свет, чтобы увидеть звёзды.

Я менял имена. Убирал детали. Додумывал то, чего не знал. Но в каждом из них есть зерно правды, которую я видел своими глазами. Или слышал краем уха. Или чувствовал, когда ночью не спалось, и я смотрел в окно на тёмный двор.

Между рассказами проходили недели, месяцы, иногда — годы. Я откладывал, возвращался, переписывал, вычёркивал, добавлял. И в какой-то момент понял: они не про разное. Они про одно и то же. Про то, как человек остаётся человеком (или перестаёт им быть) в самом обычном, неприметном, почти никем не замеченном дне. Про яичницу на завтрак. Про случайную встречу в подъезде. Про отключённый свет, который вдруг возвращает нам соседей.

Мне часто говорят, что мои рассказы грустные. Может быть. Но в них нет безнадежности. В них есть то, что я сам хочу сохранить в себе: умение замечать, слушать, помнить. И если после прочтения кто-то задержится на лестничной клетке на лишнюю минуту, чтобы прислушаться к шагам за дверью или захочет зайти к соседу просто так — без звонка, без повода — я буду считать, что сборник состоялся.

Ноктюрн в подъезде

Всё, что звучит, когда-то замолкает. И только тишина остаётся вечной. Но если в тишине остаётся музыка — значит, кто-то продолжает дышать.

Мать уходила на работу в шесть утра. Егор проснулся от щелчка входной двери — тихого, привычного, как первый звук нового дня. Он лежал, глядя в потолок, и слушал.

Он ждал. Старый сосед, живший за стеной, обычно просыпался раньше, и тогда слышалось его дыхание — хриплое, трудное, срывавшееся иногда на глухой, надсадный кашель. Егор выучил вариации этого кашля наизусть, по нему он угадывал: плохо старику сегодня или просто не спится. Но сегодня за стеной было тихо.

Про Льва Сергеевича Егор знал больше, чем большинство соседей. Мать рассказывала — неохотно, словно боялась потревожить чужую боль: «Он в консерватории преподавал, Егор. У него ученики со всего мира были. Ла-Скала ему аплодировала, Карнеги-холл. Говорят, сам Ойстрах ему руку жал». Егор знал эти имена по учебникам, но в рассказе матери они впервые стали не просто названиями — они приросли к человеку, который дышал за стеной и кашлял по ночам. Он запомнил интонацию матери — почти шёпот, как о чём-то запретном и святом. «А теперь вот — один, слепой почти, и скрипка его молчит».

Егор встал, умылся, налил чай. На столе лежала сложенная треугольником записка: «Сынок, я на работу. В холодильнике котлеты, разогрей. Удачи в школе». Он прочитал и улыбнулся — мать всегда писала одно и то же, и в этом была своя особая, привычная нежность.

Мать работала на двух работах: уборщицей в больнице и продавцом в ларьке у метро. Она уходила затемно и возвращалась затемно, и Егор скрывал от неё усталость и голод, чтобы она не переживала. Отец уехал на заработки пять лет назад и перестал выходить на связь. Мать говорила об этом редко, только когда кто-то из соседей начинал расспрашивать, и тогда она отвечала: «Не вернулся. И не надо». В голосе её не было горечи — только усталость и тихое, выжженное ожидание, которое уже перестало быть ожиданием.

По вечерам, когда мать ещё не возвращалась, Егор доставал скрипку. Школьную, которую Наталья Петровна дала ему для домашних занятий — знала, что дома у него нет другой. Струны были жёсткими, звук выходил плоским, неживым. Но он играл. Играл то, что слышал внутри: Шопена, Вивальди, — и каждый раз, когда мелодия должна была взлететь, скрипка её обрезала, приземляла, делала чужой. Егор злился. Не на скрипку — на себя. Он знал, что звук должен быть другим. Но не знал, как его достать.

И однажды, когда он играл, за стеной раздался другой звук. Чистый, глубокий, тёплый. Старый сосед играл. Тихо, будто для себя, — но Егор узнал мелодию. Ту же, которую он только что мучительно пытался выдать из своей скрипки. Только у старика она звучала иначе: легко, свободно, как будто скрипка пела её сама. Егор замер, затаив дыхание. Потом осторожно взял смычок, провёл по струнам — и услышал, как за стеной замолчали, а потом ответили. Медленно, прислушиваясь к нему. Так они играли весь вечер. Без слов. Через стену.

С тех пор это стало их ритуалом. Егор приходил из школы, садился с инструментом — и ждал. Иногда старик откликался сразу, иногда молчал, и тогда Егор играл один, зная, что его слушают. Он чувствовал, как его собственная игра меняется: он переставал бояться фальши, переставал давить на смычок, пытаясь выжать из скрипки то, чего в ней не было. Он просто играл — и слушал, как за стеной дышит тот, кто понимает его без слов.

В музыкальной школе пахло старым деревом и канифолью. Егор любил этот запах — он был обещанием музыки. Но сегодня, войдя в класс, где проходили занятия по специальности,

он почувствовал какую-то незнакомую тяжесть. Наталья Петровна сидела за столом, перебирая стопки нот. Она была из тех, кого возраст не сделал мягче, — прямая, с резкими движениями и вечно прищуренными глазами, будто всматривалась в каждого ученика сквозь увеличительное стекло.

— Егор, — сказала она, не поднимая головы. — Подойди.

Он подошёл. Она отложила ноты и посмотрела на него поверх очков.

— Через месяц областной конкурс. Я хочу, чтобы ты участвовал. У тебя есть все данные. Но ты же знаешь — на твоей школьной скрипке ты программу не вытянешь.

Егор молчал.

Она вздохнула, помолчала, потом сказала:

— Ладно, время ещё есть. Что-нибудь придумаем.

Егор сел. Взял скрипку, положил на колени. Смотрел перед собой, не видя ничего. Чёрные точки нот расплывались в глазах, но он не пытался их разобрать.

После урока он вышел в коридор, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Ему хотелось одного — чтобы его оставили в покое. Но тишину пререзала музыка. Кто-то играл Шопена в соседнем классе. Медленно, с паузами, будто боялся каждого аккорда.

Егор открыл глаза и, сам не зная зачем, пошёл на звук. Дверь была чуть приоткрыта. Он заглянул внутрь.

За роялем сидела Лена. Она играла, низко склонив голову, — светлые волосы падали на клавиши, касались их, двигались вместе с ней. Пальцы бежали по клавишам, иногда сбивались, и тогда она останавливалась, кусала губу, хмурилась и начинала снова. Она не замечала его. Егор стоял в дверях, затаив дыхание. Ему казалось: если он сделает шаг или скажет хоть слово — волшебство исчезнет, как сон. Он смотрел на неё — на то, как свет падал на её лицо, как она наклоняла голову, слушая себя, как тонкие, гибкие пальцы, сбившись, замирали на мгновение — и не мог отвести взгляд. Но Лена сама остановилась, встряхнула головой, откинула волосы назад, повернулась и посмотрела на него. Без удивления — будто знала, что он здесь.

Она потянулась — с какой-то кошачьей грацией, — поправила упавшую на плечо прядь и вдруг улыбнулась ему.

— Чего смотришь? — спросила она просто, без тени кокетства или смущения.

— Ничего, — сказал он. — Красиво играешь.

— Врёшь. Я там четыре раза ошиблась.

— Я не слышал.

— Врёшь, — повторила она, но мягче.

Егор покраснел и сделал шаг назад, собираясь уйти. Но она остановила его:

— Слушай... Я слышала, у тебя скрипка плохая. Школьная. Это правда?

Он замер.

— Ну... — начал он, — есть. Но она...

— Деревянная. Мебельной фабрики имени Клары Цеткин, — закончила она за него. — Я поняла.

Лена встала, подошла к нему и заглянула в глаза.

— Егор, — сказала она тихо, чтобы никто в коридоре не услышал, — хочешь, я папу попрошу? Он тебе купит. Настоящую. Хорошую, «Кремону» или «Мендини». Я скажу, что мне нужно для дуэтов.

У него перехватило дыхание. Он представил, как она придёт домой, скажет отцу, и тот купит скрипку. Просто так, потому что дочка попросила. А потом Егор будет брать её в руки и знать: это не подарок. Это милостыня. Чужая милостыня, за которую он никогда не сможет расплатиться.

Егор знал, сколько стоит хорошая скрипка. Он мыл машины в автосервисе по выходным и после школы, когда успевал. Мать об этой его работе не догадывалась, — когда случалось

уходить из дома в выходные, Егор сочинял что-то про факультатив, кружок или дополнительные занятия с Натальей Петровной. И где-то в глубине души он понимал: согласиться на предложение Лены — значит предать их с матерью достоинство, которое они так берегли.

— Нет, — сказал он. — Не надо.

Она удивлённо подняла брови.

— Почему?

— Потому что я не могу так. — Он проговорил это медленно, разделяя каждое слово. — Я сам.

Лена смотрела на него, и в глазах у неё мелькнуло что-то — то ли уважение, то ли недоумение.

— Ты странный, Егор, — сказала она.

— Знаю.

Она слегка улыбнулась, но улыбка вышла грустной.

— Ну ладно. Но если передумаешь — скажи.

Она вернулась к роялю, села и положила руки на клавиши. Егор постоял секунду, хотел что-то добавить, но не нашёл слов и тихо прикрыл дверь.

Он шёл по коридору и чувствовал, как в груди разрастается что-то новое. Не тоска. Что-то похожее на лёгкость. Он не понял, что это было, но запомнил, как Лена смотрела на него, когда он сказал «нет».

Домой он возвращался пешком, не торопясь. Осенний ветер гнал по асфальту жёлтые листья, и Егор смотрел на них и думал о своём. О том, что завтра опять занятия по специальности и опять этот вопрос. О том, что мать придёт поздно и он будет делать уроки один. О том, что у Лены есть рояль, а у него — только казённая скрипка, которая не хочет петь.

Он вошёл в подъезд, поднялся на свой этаж и на повороте столкнулся со старым соседом. Тот стоял у своей двери, держась за косяк. Егор хотел просто прошмыгнуть мимо, но старик вдруг повернул голову в его сторону — прислушиваясь к шагам, к дыханию.

— Это ты, Егор?

Егор остановился.

— Да, я.

Лев Сергеевич помолчал, потом сказал:

— Твоя скрипка не тянет. Она не даёт тебе дышать. Я знаю, что это такое — когда инструмент не отвечает. Ты всё правильно чувствуешь, но она не может передать этого.

Егор стоял, слушая. Старик не спрашивал, не уточнял. Он просто констатировал то, что знал — потому что слышал это по вечерам, потому что сам отвечал ему скрипкой из-за стены, потому что понимал.

Егор хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Старик знал. Он всё это время знал.

— Зайди на минуту, — сказал Лев Сергеевич и протянул руку к двери.

Егор растерялся. Но ноги сами шагнули вперёд.

В квартире пахло старой пылью и чем-то лекарственным. Вещи стояли на своих местах, но всё казалось замёрзшим, как в музее, где редко бывают посетители. Лев Сергеевич прошёл в комнату, уверенно — он знал каждый шаг, каждую половицу, — открыл шкаф и нащупал футляр. Поставил его на стол, провёл пальцами по замкам, щёлкнул ими.

— Вот, — сказал он, откидывая крышку.

Внутри лежала скрипка. Не новая, с потёртым лаком, но ухоженная, как будто её каждый день протирали мягкой тряпочкой.

— Моя, — сказал Лев Сергеевич. — Старая. Молчит. А должна звучать.

Егор смотрел на скрипку и не мог отвести взгляд. Он знал, как выглядят Амати по картинкам, но чтобы вот так — вживую, в чужом доме, на столе...

— Можно... — начал он и замаялся. — Можно я подержу?

Лев Сергеевич усмехнулся, но не насмешливо, а как-то сухо и одновременно тепло.

— Для того и достал. Бери.

Егор протянул руки, взял скрипку так аккуратно, будто она была из стекла. Струны отозвались лёгким, почти неслышным звоном.

— Ну-ка, покажи, чему тебя учат, — сказал старик.

Егор пристроил скрипку на плече, взял смычок и провёл по струнам. Звук — чистый, глубокий, совсем не такой, как у школьных инструментов, — заставил его замереть на мгновение. Егор никогда не слышал такого голоса у скрипки. Он перевёл дыхание и заиграл то, что недавно разучивал с педагогом — небольшую, но технически сложную пьесу Вивальди. Не идеально, с шероховатостями, но с тем самым огнём, который вырывается наружу, когда человек забывает о нотах и просто чувствует музыку.

Старик слушал, прикрыв глаза. Когда Егор закончил, он открыл их и сказал:

— Чакона Вивальди, — сказал Лев Сергеевич. — Слышно, что стараешься. Слух есть. Руки поставлены правильно. Но ты всё ещё давишь. Привык к своей школьной скрипке, которая не отвечала. А этой — не надо давить. Она сама зазвучит, если ты позволишь. Я слышал по вечерам, через стену, как ты мучаешься. Сейчас — ты уже не мучаешься, но привычка давить осталась.

Егор опустил скрипку, не зная, что ответить. Старик знал. Он всё это время слышал.

Лев Сергеевич подошёл ближе и осторожно взял инструмент из его рук, проведя пальцами по деке — не как по дереву, а как по живому лицу.

— Эту скрипку, — сказал он негромко, — Ойстрах подарил. В шестьдесят втором. После концерта.

Он помолчал. Пальцы его всё ещё лежали на деке, и Егор понял: старик не нуждается в зрении, чтобы видеть скрипку — он слышит, как она дышит, чувствует, как дерево хранит тепло.

— Сказал тогда: «Лёва, не дай ей молчать». Я и не давал. Пока руки слушались.

Он усмехнулся — коротко, без горечи, просто как человек, который давно привык к тому, что жизнь не всегда идёт по нотам.

— А теперь она твоя, — сказал Лев Сергеевич. Не «бери», не «я тебе даю». Именно «она твоя».

— Но я... — начал Егор.

— Приходи завтра, — перебил старик. — Попробуем сделать так, чтобы то, что ты чувствуешь, она спела. Я тебя слушал. Я знаю, что внутри. Осталось научить её слушаться.

С этого дня всё и началось.

Каждый вечер, когда мать ещё не возвращалась с работы, домашние задания сделаны, а на автомойку идти не нужно, Егор выходил из своей квартиры и стучал в соседнюю дверь. Лев Сергеевич уже ждал его — сидел в старом кресле, и футляр лежал на столе открытый, как приглашение. Они занимались по сорок минут, иногда дольше, если старик не уставал. Звук Амаatti впервые за много лет наполнял комнату, которая давно отвыкла от музыки.

Старик учил его не так, как в школе. Он не говорил о нотах, о постановке пальцев, о правильном дыхании. Он говорил о звуке — о том, что звук начинается не в смычке и не в струнах, а в животе, в груди, в том месте, где человек хранит самое важное. Он учил его вслушиваться в тишину между нотами — туда, где рождается настоящее. Он учил его не просто играть, а чувствовать музыку как продолжение себя, как голос, который не врёт. Он говорил: «Когда ты играешь, ты не рассказываешь историю — ты живёшь ею. Скрипка — это не инструмент. Это твой второй голос, который заговорит, только если ты сам будешь слышать, что хочешь сказать».

— Попробуй так, — говорил Лев Сергеевич. — Сначала услышь её в голове. Не ноты, не звук, а саму мелодию, как она дышит. А потом уже води смычок. Ты не учишь скрипку играть

— ты учишься быть с ней в одном ритме. Если ты сам не знаешь, что хочешь сказать, она не скажет за тебя.

Егор закрывал глаза и пытался. Поначалу не получалось — он привык к своей «деревянной» скрипке, которая не отвечала, и теперь, когда инструмент откликался на каждое движение, на каждый вздох, он терялся. Но однажды, когда он играл простую, незатейливую мелодию, вдруг что-то щёлкнуло внутри, и Амати запела. Не так, как на уроках, когда Наталья Петровна поправляла локоть и говорила «выше, ниже», — а по-настоящему, так, что у самого Егора перехватило дыхание.

Старый музыкант улыбнулся своей сухой, доброй улыбкой и сказал:

— Вот. Теперь ты понял.

А однажды Лев Сергеевич сказал:

— В подъезде звук живёт дольше. Попробуй. Стены здесь помогают — они не гасят, они возвращают.

Егор вышел на площадку, пристроил скрипку на плече, провёл смычком — и услышал, как звук огибает лестничные пролёты, поднимается к потолку, задерживается в углах. Акустика здесь действительно была другой — более тёплой, объёмной. Подъезд превратился в концертный зал. Стены гасили уличный шум и возвращали звук иначе — теплее, объёмнее, так что хотелось просто стоять и слушать, растворяясь в нём.

Тётя Вера, первое время ворчавшая: «Егор, опять ты со своей музыкой! У меня гипертония, мне покой нужен!» — теперь, выйдя на площадку, слушала, опершись о перила и прикрыв глаза. Дядя Коля с четвёртого этажа однажды оставил у двери Егора пакет с яблоками и записку, написанную печатными буквами: «Играй громче, я слышу. Это хорошо». Бабушка Зина просто ставила стул на лестничной клетке этажом ниже и сидела с закрытыми глазами, пока Егор играл, а потом тихо уходила к себе, вытирая слёзы. Так эти вечерние концерты стали их традицией. Иногда к Егору присоединялся Лев Сергеевич — брал свою старую скрипку, простую, без имени, которую хранил как память о своих первых успехах, — и они играли вдвоём. Их голоса переплетались в лестничных пролётах, поднимались вверх, касались потолка, и Егор чувствовал, как его собственная игра становится увереннее, глубже, свободнее. Даже та школьная, «деревянная» скрипка, которую он изредка приносил с собой, теперь звучала иначе — теплее, живее, словно она тоже училась, слушая их дуэт.

Однажды, ближе к вечеру, Егор сидел на лавочке и репетировал новый этюд. Лев Сергеевич, как обычно, находился рядом. Егор уже не стеснялся играть при старике и даже ловил себя на мысли, что без его молчаливого присутствия звук становится каким-то пустым.

Он играл, закрыв глаза, и не заметил, как на площадке появилась Лена. Она поднималась на его этаж — хотела передать ноты, которые он забыл в школе, — но музыка, доносившаяся сверху, пригвоздила её к месту. Сначала она подумала, что у кого-то играет радио. Но радио так не плачет. Скрипка плакала — тихо, надрывно, так, что у самой Лены защипало в глазах. Это не была та техника, которую они учили на уроках. Она слышала, как он играл в школе, на той школьной, безголосой скрипке. Но сейчас звук был другим — глубоким, живым, тёплым. Техника здесь не имела значения. Было что-то другое — настоящее, живое, щемящее.

Она поднялась на площадку и замерла. Егор сидел на скамейке у окна. В руках у него была скрипка — не школьная, другая, старинная, с тёмным потёртым лаком. Рядом с ним сидел пожилой мужчина с закрытыми глазами. Егор играл, и лицо у него было какое-то нездешнее — такое, каким она никогда не видела его в школе. Мужчина ничего не говорил, просто слушал, прикрыв глаза. И в этом молчании было столько понимания, сколько Лена не встречала у взрослых.

Когда Егор закончил, она не выдержала и тихо сказала:

— Это же Шопен... Ноктюрн до-диез минор?

Егор вздрогнул, открыл глаза и увидел её. Лицо его залилось краской.

— Лена?! Ты... ты как здесь?

— Я ноты принесла. Ты в школе забыл.

Она протянула ему папку, но смотрела не на него, а на скрипку.

— Это твоя?

— Нет, — сказал Егор, опуская глаза, — это Льва Сергеевича. Он учит меня играть.

Лена перевела взгляд на старика. Тот чуть приоткрыл глаза и улыбнулся — сухо, но тепло.

— Талантливая девочка, — сказал он, — сразу поняла. Садись, послушай. Мы как раз разучивали.

Лена села рядом с Егором на ступеньку, и он заиграл снова. В этот раз для неё. И скрипка пела уже не только о том, что было утеряно, но и о чём-то новом, что только начиналось.

Когда он закончил, Лена сказала:

— Красиво... Егор, ты удивительный.

Он ничего не ответил, но Лев Сергеевич, который уже поднялся и стоял у своей двери, спокойно добавил:

— Он хороший мальчик. Играет не для галочки, а для души. Это редкость. Не потеряй это, Егор.

Егор кивнул. А Лена сидела рядом, и в подъезде висела та особенная тишина, которая бывает только после настоящей музыки.

Егор вернулся из школы, поднялся на свой этаж и увидел тётю Веру — она стояла у двери Льва Сергеевича, прижимая к груди футляр. Лицо у неё было испуганное, непривычное.

— Егор, — сказала она, заметив его, — Льва Сергеевича сегодня утром увезли в больницу. Инсульт. Врачи сказали — состояние тяжёлое, сутки решающие. Он просил передать тебе вот это.

Она протянула футляр.

— Сказал: «Пусть играет. Скрипка должна жить».

Егор взял футляр, прижал к себе. Внутри всё похолодело, но он не заплакал — знал, что музыка не терпит слёз.

— Я... — начал он и запнулся. — Я могу к нему?

— Не сейчас, Егор. Сказали — никого не пускают. Дай ему время.

Егор кивнул, развернулся и зашёл в квартиру.

Поставил футляр на стол, откинул крышку. Амаatti лежала на месте, и на её струнах, поверх бархата, — пожелтевший конверт. Егор взял его дрожащими пальцами. Надпись была выведена дрожащим почерком: «Егору».

Он развернул. Там было всего несколько строк:

«Ты не бойся. Она тебя любит. Играй так, чтобы я слышал. Даже если я уже не здесь».

Егор закрыл глаза и заиграл. Тихо, почти шёпотом. Ноктюрн до-диез минор, посмертное сочинение, 20 — тот самый, который они разучивали все эти утра. Звук летел по лестничной клетке, поднимался к потолку, касался стен, задерживался в углах. Дверь тёти Веры приоткрылась — она высунула голову, хотела что-то сказать, но передумала и просто стояла, слушая. Дядя Коля спустился на один пролёт и сел на ступеньку, обхватив колени. Бабушка Зина вышла на площадку и тихо заплакала, но это были хорошие слёзы.

Егор доиграл. Положил смычок и сказал в пустоту:

— Спасибо, Лев Сергеевич. Я не подведу.

Через три дня тётя Вера постучала к нему. Он открыл — она стояла на пороге, бледная, с красными глазами.

— Егор, — сказала она, — Лев Сергеевич умер. Сегодня ночью. Звонили из больницы... Я подумала, тебе надо знать.

Егор стоял, глядя на неё, и не мог вымолвить ни слова. Он чувствовал, как внутри разрастается пустота.

— Спасибо, — сказал он наконец.

На похороны пришли все соседи. Егор стоял у гроба с футляром в руках и молчал. Ветер с улицы задувал в открытую дверь подъезда, кто-то всхлипывал, но Егор не оборачивался. Он смотрел на лицо Льва Сергеевича — спокойное, без той сухой усмешки, к которой привык, — и держал футляр так крепко, что пальцы побелели.

Через месяц он вышел на сцену областного конкурса. В зале сидели мать, отпросившаяся с работы, тётя Вера, дядя Коля, бабушка Зина. Лена уже сидела за роялем.

Егор подошёл к микрофону и сказал:

— Это посвящается моему учителю. Льву Сергеевичу. Он научил меня дышать музыкой.

Он поднял скрипку, взглянул на Лену. Она чуть заметно кивнула.

Ноктюрн до-диез минор, соч. посмертное, 20, — тот самый, что они разучивали с Львом Сергеевичем в подъезде, и который Лена узнала, когда стояла на лестнице и слушала Егора. Теперь он звучал иначе — не как прощание, а как обещание. Скрипка и фортепиано переплетались, дышали в унисон, плакали и утешали друг друга.

Егор закрыл глаза и вдруг увидел Льва Сергеевича — не в зале, а на той самой лавочке в подъезде, с закрытыми глазами, слушающего. Он видел его так отчётливо, будто старик сидел прямо перед ним, на краю сцены, и улыбался своей сухой, доброй улыбкой.

В этом дуэте не было больше разделения на партию скрипки и партию фортепиано — только общее дыхание, общий ритм, общее молчание между нотами. Егор чувствовал, как Ленины пальцы ловят его фразы, как они дышат вместе, не сбиваясь, не оглядываясь друг на друга. Скрипка и рояль говорили на одном языке — языке, который Лев Сергеевич когда-то передал Егору, а теперь он передавал его залу.

Последний аккорд затих. В зале повисла та особенная тишина, которая бывает только тогда, когда слова уже не нужны, потому что всё сказано. А потом зал взорвался аплодисментами.

Егор открыл глаза и посмотрел на Лену. Она улыбалась, и в глазах у неё блеснули слёзы. Он улыбнулся в ответ — впервые за последние недели.

Он перевёл взгляд в зал, на пустое место в дальнем углу. И ему показалось, что там, в тени, сидит старый человек в потёртом пиджаке. Он не аплодировал — просто сидел, закрыв глаза, и слушал. И на губах его застыла такая знакомая сухая, добрая улыбка.

Егор опустил скрипку и тихо сказал, почти одними губами:

— Спасибо, Лев Сергеевич.

Вечером Егор вернулся домой, поднялся на площадку и сел на лавочку. Достал скрипку и заиграл снова — для себя. Тихо, как тогда.

Дверь тёти Веры приоткрылась. Она вышла, остановилась, слушая, и когда Егор закончил, тихо сказала:

— Это та самая музыка, которую мой покойный муж любил. Он всё пластинку эту крутил, перед сном... Я с тех пор и не слышала её нигде.

Она помолчала, потом села рядом на лавочку и положила руки на колени.

— Ты сыграй ещё, Егор. Если не трудно.

Егор кивнул, поднял скрипку и заиграл снова. В подъезде было тихо, и звук, казалось, наполнял собой всё пространство — от первого этажа до последнего, проникая в каждую щель, в каждую дверь. Но этот звук был не громким — он был тёплым и живым.

Играя, он вдруг ясно увидел Лену — её руки, бегущие по клавишам, её улыбку после последнего аккорда, их глаза, встретившиеся на сцене. Это было странно: он ещё не знал, что это такое, но внутри разливалось тепло, которое не шло ни в какое сравнение с холодной пустотой последних дней.

Он думал о Льве Сергеевиче — о том, как старик сидел на этой же лавочке с закрытыми глазами и слушал. Как учил его дышать музыкой. Как отдал ему скрипку, не попросив ничего взамен. И как — уходя — сказал тётё Вере: «Пусть играет».

Егор доиграл, опустил смычок и посидел молча.

Тётя Вера вздохнула, поднялась и, уже уходя, обернулась:

— Спасибо тебе, Егор. Он бы оценил. Я знаю.

Она скрылась за дверью. Егор остался один. На площадке было тихо — только где-то внизу хлопнула дверь подъезда, и снова наступила тишина. Но он не чувствовал пустоты. Он чувствовал, как внутри, рядом с болью, растёт что-то новое — совсем тихое, почти невесомое, как первый звук скрипки, когда её только касается смычок.

Он убрал скрипку в футляр, защёлкнул замки и пошёл домой. Впереди были занятия, конкурсы, новые встречи. Была жизнь. Была музыка. И Лена.

Яичница

Сергей Ильич и Марина Петровна прожили вместе без малого три с половиной десятилетия. За это время утекло много воды, выросло двое детей, сменилось три сковороды и не одна скатерть. Их брак напоминал старое, добротное пальто — может, и повитерлось местами, но сидит ловко и греет исправно. Так, во всяком случае, думала Марина Петровна. Сергей Ильич, как выяснилось, думал иначе.

Перемены начались не вдруг, а исподволь — как начинает портиться зуб: сперва реагирует на холодное, потом на горячее, а потом уже и дышать на него больно. Когда дети разъехались — сын в Новосибирск за карьерой, дочка подалась в столицу за личным счастьем, — квартира вдруг оказалась слишком просторной. И в этой пустоте Сергей Ильич, прежде занятый заводом, гаражом, воскресной рыбалкой, обратил всё своё нерастраченное внимание на жену.

— Суп пересолен, — изрёк он однажды за обедом и отодвинул тарелку.

Марина Петровна попробовала. Суп был ровно таким, как всегда, — лёгкий куриный бульон с вермишелью и морковкой, звёздочками нарезанной. Суп, который он хлебал всегда с удовольствием и никогда не жаловался. Она промолчала, решив, что у мужа просто день не задался.

Но дни не задавались теперь регулярно. Котлеты стали «резиновыми», чай — «бурдой», хлеб — «нарезанным не по-людски», а сама Марина Петровна, по его всё более частым замечаниям, «запустила себя». Последнее было особенно несправедливо и горько: она и в пятьдесят семь оставалась женщиной скромной, опрятной, из тех, чья красота с годами не увядает, а приобретает оттенки глубины и чувственности. Однако Сергей Ильич придирался и здесь, выискивая то морщинку, то якобы лишнюю складку на талии, и умел дать понять о своём недовольствии без слов — одним красноречивым взглядом поверх очков, когда она, стесняясь, отказывалась от лишней булочки.

Марина Петровна старалась. Она купила сковороду с антипригарным покрытием — недешёвую, между прочим. Перерыла кулинарные сайты, выискивая рецепты идеальной яичницы, идеальных котлет, идеального супа. Тайком, чтобы не дай бог не засмеял, купила абонемент в бассейн — плавать и худеть. И каждый раз, ставя перед мужем тарелку, испытывала священный трепет, как дебютантка перед строгим художником.

Но все её усилия разбивались о его непреклонность. Потому что Сергей Ильич искал не вкуса, а повода. Ему нужно было выплеснуть ту глухую, неосознанную неудовлетворённость, что скопилась за долгие годы. Дети уехали? Она виновата — не так воспитала. Жизнь прошла? Она виновата — не сумела её устроить. Сам он постарел и утратил былую лёгкость? Тоже она — недоглядела, не настояла, не заставила. Так удобно: когда рядом есть кто-то, кому можно предъявить счёт за всё сразу.

Ночами Марина Петровна лежала без сна и тихо плакала, уткнувшись в подушку, чтобы он не услышал и не разозлился пуще прежнего. Слёзы текли по щекам, впитывались в наволочку. Она вспоминала, как они познакомились — в парке, на танцах. Как он, длинный, нескладный, с выбившейся из-под ремня рубашкой, пригласил её на вальс и отдал все ноги. Как они, хохоча, жарили свою первую картошку — она сгорела наполовину, но вкуснее он, по его собственным словам, ничего в жизни не ел. Куда ушёл тот парень? В кого превратился?

Иногда, совсем обессилив от слёз, она засыпала под утро — и снилось ей почему-то море. Большое, синее море, которое они видели в Крыму в первый совместный отпуск. И во сне она плыла одна, легко и свободно, а он стоял на берегу и махал рукой, и нельзя было разобрать — прощается или зовёт обратно.

Небо за окном висело серой промокашкой, моросил мелкий, нудный дождь — не осенний, бодрящий, а какой-то безнадёжный, словно шелест старой заезженной пластинки. Сергей Ильич проснулся в особенно дурном расположении духа: поясницу ломило, радио передало невесёлые новости, а в ванной обнаружилось, что закончилась его любимая туалетная вода. Марина Петровна, почуяв неладное, хлопотала на кухне с удвоенным усердием.

— Опять ничего не готово, — бросил он, усаживаясь за стол и разворачивая газету. — Только умоляю — не как вчера. Это была не яичница, а бог знает что.

Марина Петровна ничего не ответила. Руки у неё дрожали — сказала очередная бессонная ночь. Она вынула из холодильника два яйца — как он любил. Сковорода уже стояла на плите, смазанная маслом. Она разбила скорлупу осторожно, почти нежно — как разбивают не яйцо, а некую драгоценность. Белок лёг ровно, не растёкся. Желток замер янтарным глазом. Она прибавила огонь — самую малость, чтобы схватился тот самый кружевной, хрустящий краешек, о котором он твердил. Посолила. Поперчила. Сняла.

Яичница вышла — загляденье. Солнышко на тарелке.

Сергей Ильич отложил газету, посмотрел на тарелку. Взял вилку, отломил белок, пожевал. Тронул желток — тот отозвался дрожью, но не растёкся. Потом положил вилку на стол — не бросил, а именно положил, аккуратно, как кладут инструмент после неудачной операции — и поднял на жену глаза.

— Ну и что это? — спросил он тихо.

— А что? — Голос её дрогнул.

— Я тебя спрашиваю: что это? — Он повысил голос. — Всю жизнь, всю жизнь одно и то же! Даже яичницу нормально пожарить не можешь! Белок сырой! Желток пересушен! Масла налила — с души воротит. Чему я тебя учил? О чём просил? Ну что ты за хозяйка такая?

Каждое слово било, как пощёчина. Марина Петровна стояла, опустив руки. Лицо её побледнело, губы чуть шевелились, но не произносили ни звука.

— Ладно, — сказал он устало, отворачиваясь. — Иди с глаз моих. Сам себе пожарю. Авось не отравлюсь.

Она всё так же молча вытерла руки полотенцем, повесила его на крючок и вышла. Не хлопнула дверь, не заплакала, не сказала ни слова. Только плечи чуть заметно дрогнули в дверном проёме.

Сергей Ильич посидел минуту, другую. Взял было газету, но строчки прыгали перед глазами. Чай остыл. Яичница на тарелке сморщилась, осела, стала какой-то жалкой, сиротской. Он отодвинул её.

Прошло пять минут. Десять. В квартире стояла неестественная, звенящая тишина. Так тихо бывает только перед грозой — или после большой беды.

— Марина! — позвал он не оборачиваясь.

Молчание.

— Марина, я кому сказал!

Никто не ответил. Только дождь за окном всё шелестел и шелестел, словно кто-то рвал старые письма.

Сергей Ильич тяжело поднялся — спина хрустнула — и пошёл в гостиную. Он уже предвкушал, как прочтает ей короткую, но внушительную лекцию о женском самолюбии и неумении слушать. Но лекция не состоялась.

Марина Петровна лежала на полу, у дивана. Голова её неестественно запрокинулась, рука сжимала угол ковра, словно она хотела удержаться, но не сумела. Лицо было бледное-бледное, и только на губах застыло странное, почти виноватое выражение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.